

Александр Иванович Куприн
Сентиментальный роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164399

Содержание

* * *

ПРИМЕЧАНИЯ

3

16

Александр Иванович Куприн Сентиментальный роман

* * *

Дорогой друг мой!

Опять, как и прошлой весной, я приехала сюда, на берег моря, в нашу санаторию. Даже и номер мне попался тот же самый. Только в нем зимой переменили обои, и потому в комнате до сих пор слегка пахнет клеем. Не знаю, как у других, но у меня этот запах всегда вызывает ту сладкую и тихую грусть, которая так неразрывно связана с воспоминаниями детства. Может быть, это осталось у меня еще с института. Помню, как, бывало, привозили меня туда после долгих летних каникул. Ходишь по давно знакомым дортуарам, по классам, по коридорам и везде слышишь запах клея, свежей краски, известки и лака. И чувствуешь с тревожной грустью, что опять переступаешь через какую-то новую грань жизни, и смутно жалеешь о прошедшем, оставшемся по ту сторону – сером, будничном, неприятном, но уже потому бесконечно милым, что оно прошло и никогда-никогда не повторится...

Ах, это прошлое! Какое таинственное, неотразимое обаяние сохраняет оно над нашей душой! Ведь и вам, мой дорогой, я только потому осмеливаюсь писать, что сегодня с самого утра чувствую себя во власти прошлогодних воспоминаний.

Я сижу в настоящую минуту за письменным столом, но стоит мне оторвать от него глаза, и я вижу море, то самое море, в которое мы с вами – помните? – были так поэтически влюблены. Впрочем, даже и не глядя, я чувствую его. Оно как будто бы подымается вверх ровной, темно-синей пеленой до половины моего окна, раскрытого настежь. Над ним – голубое небо совсем безоблачное и торжественно– спокойное. А под окном цветет яблоня. Одна из ее ветвей – такая пышная, вся сплошь покрытая нежными цветами, прозрачно-белыми на солнце и чуть-чуть розовыми в тени, – заглядывает ко мне в комнату. Когда с моря набегают легкий ветерок, она слабо раскачивается, точно кланяясь мне с тихим дружеским приветом, и еле слышно шуршит о зеленый решетчатый ставень. Я смотрю и не могу досыта насмотреться на эти плавные движения белой, осыпанной цветами ветки, которая с такой мягкой, прелестной отчетливостью, так грациозно рисуется на глубокой, могучей и радостной синеве моря... И мне просто хочется плакать от умиления перед этой незатейливой красотой.

Наша санатория тонет (простите за старенькое сравнение) в белых волнах цветущих груш, яблонь, миндаля и абрикосов. Говорят, что на языке прежних обитателей-черкесов эта

очаровательная приморская деревушка называлась «Белой невестой». Какое милое и какое верное название! Так и ветер от него колоритным языком восточной поэзии, чем-то выхваченным прямо из «Песни Песней» царя Соломона.

Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками, а когда подымается ветер, то кажется, будто снег крупными хлопьями медленно опускается с деревьев на землю. Эти легкие снежинки залетают ко мне в комнату, осыпают письменный стол, садятся на платье и на волосы... и я не могу, да и не хочу отделаться от воспоминаний, которые волнуют меня и кружат мне голову, как старое ароматное вино...

Это было прошлой весной, на третий или на четвертый день после вашего приезда в санаторию. Было такое же тихое, прохладное, сияющее утро. Мы сидели на южной веранде, я – в кресле-качалке, крытом голубой парусиной (помните это кресло?), а вы – на перилах веранды, прислонившись к угловому столбу и обхватив его рукой. Боже мой! Вот и сейчас, написав эти строчки, я остановилась, закрыла на несколько мгновений глаза руками, и опять передо мною с необыкновенной ясностью стало ваше тогдашнее лицо – худое, бледное, с тонкими, изящными чертами, с прядью темных волос, небрежно свесившихся на белый лоб, и с глубокими, печальными глазами. Я представляю себе даже ту задумчивую и рассеянную улыбку, которая чуть заметно трогала ваши губы, когда вы говорили, мечтательно глядя на па-

дающие лепестки белых цветов: – Вот и яблони осыпаются... А весна ведь только в самом начале. Отчего этот быстрый и пышный расцвет южной весны всегда возбуждает во мне такое болезненное ощущение тоски и неудовлетворенности? Кажется, не далее, как вчера, я с волнением глядел, как наливаются первые почки, а сегодня уж облетают цветы, и знаешь, что завтра придет холодная осень. Не правда ли, как это похоже на нашу жизнь? Смолоду живешь одними надеждами, все думаешь, вот-вот настанет что-то великое, захватывающее, а потом вдруг точно проснешься и видишь, что у тебя ничего не осталось, кроме воспоминаний и тоски по прошлому, и сам не можешь сказать, в какую пору прошла твоя настоящая жизнь – полная, сознательно прекрасная жизнь.

Видите, как хорошо я помню ваши слова. Все, что связано с вами, запечатлелось в моей душе яркими, выпуклыми образами, которыми я так дорожу, люблю и наслаждаюсь, как скупой своим золотом. Я вам признаюсь даже, что приехала я сюда только потому, что мне хотелось еще раз увидеть хоть из окна кусочек нашего моря и нашего неба, почувствовать тонкий аромат цветущей яблони, слышать по вечерам сухое стрекотание кузнечиков и... без конца переживать воображением те наивные, бледные воспоминания, над мелочностью которых рассмеялся бы здоровый человек. Ах, эти здоровые люди!.. С их грубым аппетитом к жизни, с бездной могучих ощущений, испытываемых их крепким телом и равнодушно расточительной душой, они даже и представить се-

бе не могут тех неуловимо тонких, непередаваемо сложных оттенков настроений, которые постоянно испытываем мы, обреченные чуть ли не с самого дня рождения на однообразное прозябание в больницах, курортах и санаториях!..

Здесь все по-прежнему. Только вас нет, мой дорогой друг и учитель. Вы, конечно, догадываетесь, что я по газетным вестям узнала о том, что ваше здоровье поправилось и что вы снова заняли кафедру. Наш милейший, жизнерадостный, как и всегда, доктор подтвердил это, сияя от самодовольствия. Без сомнения, он приписывает ваше выздоровление своей системе теплых ванн и изобретенному им пищевому режиму. Ни в то, ни в другое, как вам известно, я не верю, но тем не менее готова была расцеловать этого добродушного эгоиста и наивного корыстолюбца за его сообщение о вашем здоровье.

Зато мной он совсем не доволен: это я видела по тому, как он покачивал головой, морщил губы и громко, с озабоченной серьезностью, дышал носом, когда и выстукивал мою грудь. В заключение он советовал мне перебраться куда-нибудь на настоящий юг, — в Ментону или даже в Каир; советовал с неуклюжей и шутливой осторожностью, плохо, однако, маскировавшей беспокойство, которое бегало в его глазах. Очевидно, он боится того плохого впечатления, которое произведет среди его пациентов моя смерть, и заранее хочет избавить их от этой неприятности. Мне очень жаль будет причинить невольно ущерб доброй репутации его заведения, но

все-таки я считаю себя вправе позволить себе роскошь умереть именно в этом месте, освященном трогательной прелестью ранней весны.

Тем более что это случится гораздо скорее, чем он предполагает; может быть, даже раньше, чем облетят последние белые лепестки с моей яблони. Скажу вам по секрету, что я уже не хожу никуда дальше веранды, да и это мне страшно трудно, хотя у меня все же хватает мужества отвечать беспечной улыбкой на тревожно-вопросительные взгляды доктора. Но не думайте, что я жалуясь вам в себялюбивой надежде вызвать к себе сострадание. Нет! Я просто хочу воспользоваться правом умирающей говорить то, о чем из условной стыдливости молчат здоровые люди. Кроме того, мне хочется сказать вам, что смерть совсем не страшит меня и что вам, мой друг, только вам я обязана этим философским спокойствием. Я теперь вполне понимаю ваши слова: «Смерть есть наиболее простое и нормальное из всех жизненных явлений. Человек рождается на свет и живет вследствие одних случайностей, но только умирает по неизбежному закону». Этот прекрасный афоризм стал мне теперь особенно понятен.

Да, вы многому научили меня. Без вас я никогда не постигла бы тех тонких, медленных наслаждений, которые может дать прочитанная книга, изящная и глубокая мысль творческого ума, вдохновенная музыка, красота солнечного заката, аромат цветка и, главное – самое главное – духов-

ное общение двух утонченных натур, у которых благодаря тяжелому недугу нервная восприимчивость доходит до степени экзальтации, а взаимное понимание принимает характер безмолвного ясновидения.

Помните ли вы наши долгие, неторопливые прогулки вдоль морского берега, под отвесными лучами солнца, в те знойные, ленивые, полуденные часы, когда все, кажется, замирает в бессильной истоме и только волны с тихим шелестом и шипением набегают на желтый горячий песок и уходят назад в сверкающее море, оставляя после себя влажную зубчатую кайму, которая так же быстро исчезает, как след от дыхания на стекле? Помните ли, как тайком от доктора, не позволявшего никому оставаться на воздухе после солнечного заката, мы пробирались в теплые лунные ночи на террасу? Свет месяца прорезывал густые шпалеры из дикого винограда и причудливым легким кружевом ложился на полу и на белой стене. В темноте мы не видели, но угадывали друг друга, и боязливый шепот, которым мы должны были из предосторожности разговаривать, сообщал даже самым простым словам глубокое, интимное, волнующее значение. Помните ли, как в дождливые дни, когда море на целые сутки заволакивалось туманом, а в воздухе пахло мокрым песком, рыбою и освеженными листьями, мы забирались в мою уютную комнату и читали Шекспира, читали понемножку, как истинные лакомки, вдумчиво наслаждаясь каждой страницей, каждой искрой этого великого ума, который стано-

вился для меня еще глубже, еще проникновеннее благодаря вашим тонким комментариям. Эти книжки в мягких переплетах из нежного зеленого сафьяна и теперь со мной. В них, на некоторых страницах, до сих пор остались кое-где ваши «отметки резкие ногтей», и, когда я вновь вижу эти уцелевшие символы, так живо напоминающие мне о вашем нежном восторге перед красотами и безднами шекспировского гения, мной овладевает тихое, меланхолическое умиление.

Помните ли... Ах, я без конца готова была бы повторять этот вопрос, но я чувствую, что уже начинаю уставать, а, между прочим, мне еще хочется сказать вам так много.

Ведь вы, конечно, можете себе представить, что здесь, в санатории, я осуждена на вечное молчание. Меня просто из себя выводят эти обычные, стереотипные фразы, которыми обмениваются наши больные, встречаясь поневоле за завтраком, за обедом, за чаем. Говорят все об одном и том же: один взял сегодня утром ванну двумя градусами ниже вчерашнего, другой съел винограду на фунт больше, третий взобрался, не останавливаясь, на крутой откос, ведущий к морю, и – представьте! он даже не запыхался. О своих болезнях рассказывают подолгу, с эгоистичным удовольствием, иногда с противными подробностями... Каждому непременно хочется уверить остальных, что таких необычайных осложнений и таких жестоких страданий, как у него, не может быть ни у кого другого. Беда, когда сталкиваются два конкурента, хотя бы по вопросу о простой головной боли. Тут пускают-

ся в ход презрительные пожатия плечами, кривые иронические улыбки, высокомерные мины и самые «ледяные» взгляды: «Что вы мне говорите о своей мигрени! Ха-ха! Это, право, даже смешно! Воображаю, что бы вы сказали, если бы у вас были такие жестокие боли, какие я испытываю каждый день!» Болезнь здесь служит предметом гордости и соревнования, каким-то странным патентом на смешное самоуважение, чем-то вроде почетного ордена. Положим, я замечала это явление и у здоровых людей, но здесь, среди больных... оно становится ужасным, отвратительным, невероятным!..

Поэтому я всегда радуюсь, когда наконец остаюсь одна в моем уютном и недоступном уголке. Впрочем, нет,— я не одна, со мной постоянно вы и моя любовь. Вот я выговорила это слово, и оно вовсе не обожгло моих губ, как это бывает в романах.

Впрочем, я и сама не знаю, можно ли называть любовью это тихое, бледное, полумистическое чувство?

Я не стану от вас скрывать, что девушки нашего круга имеют о любви гораздо более точные и реальные сведения, чем это предполагают их родители, благодушно глядя сквозь пальцы на модное ухаживание. В институте об этом предмете говорят очень много, причем любопытство придает ему какие-то таинственные, преувеличенные, даже уродливые свойства. Из романов и из рассказов замужних подружек мы узнаем о безумных поцелуях, о жарких объятиях, о ночах блаженства, о неге и бог знает о чем еще. Все это мы воспри-

нимаем инстинктом, полусознательно и – вероятно, в зависимости от темперамента, испорченности и догадливости – в большей или меньшей степени глубоко... В этом смысле моя любовь – не любовь, а сентиментальная и смешная игра воображения. Больная, хилая и слабая – я с самого детства питала ужас ко всем явлениям, где так или иначе выказывается физическая мощь, грубое здоровье и алчность к жизни. Быстрая езда на лошадях, вид рабочего, несущего на спине огромную тяжесть, большая толпа, громкий крик, чрезмерный аппетит, сильные запахи – все это приводит меня в трепет или вызывает во мне брезгливость. И эти же самые чувства я испытываю, когда моя мысль случайно остановится на настоящей чувственной любви здоровых людей, с ее тяжелыми, нелепыми и бесстыдными деталями.

Но если назвать любовью то исключительно тонкое духовное слияние двух людей, при котором чувства и мысли одного какими-то таинственными токами передаются другому, когда слова уступают место безмолвным взглядам, когда чуть заметное дрожание век или слабая тень улыбки в глазах говорят иной раз гораздо больше, чем длинное признание в любви у «людей шаблона» (употребляю ваше же выражение), когда, быстро встретившись глазами за общим столом или в гостиной, при входе нового лица или после только что сказанной кем-нибудь глупости, два человека умеют без слов поделиться общим впечатлением – одним словом, если такого рода отношения можно назвать любовью, то я смело

скажу, что не только одна я, но что мы оба с вами любили друг друга...

И даже... даже не той любовью, которую насмешливо называют братской. Это я знаю потому, что у меня очень ярко сохранилось воспоминание об одном случае... единственном случае, рассказывая о котором я боюсь покраснеть. Это произошло над обрывом моря, в виноградной беседке, которую и теперь, как и в прошлом году, с жеманной чувствительностью называют «беседкой любви». Было тихое— тихое утро, и море казалось зеленым, того бледного и блестящего зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита; иногда по его спокойной глади медленно проползало плохое, неровное фиолетовое пятно — тень от облака. В предшествующую ночь я плохо спала, и потому встала вся разбитая, с головной болью и туго натянутыми нервами. За чаем я поссорилась с доктором, не так из-за его запрещения купаться в открытом море, как из-за его самоуверенного и пышущего здоровьем вида. Жалуясь вам на него, в беседке, я расплакалась. Помните ли вы этот случай? Вы растерялись, говорили какие-то бессвязные, но милые, ласковые слова и осторожно гладили меня, как ребенка, по волосам. Это участие совсем растрогало меня, я прижалась головой к вашему плечу, и вы... вы поцеловали меня несколько раз подряд в висок и в щеку. И я должна сознаться (так я и знала, что покраснею на том месте письма!..), что эти поцелуи не только не были мне противны, но даже доставили мне приятное, чи-

сто физическое удовольствие, похожее на ощущение легкой, теплой волны, пробежавшей по всему моему телу с головы до ног.

Но этот случай был единственный. Ведь вы сами, мой друг, говорили неоднократно, что для таких, как мы с вами, истощенных туберкулезом людей целомудрие является не добродетелью, а долгом.

И все-таки эта любовь, блеснувшая на мой печальный закат, была так ясна, так нежна, так болезненно прекрасна! Помнится мне, еще совсем маленькой девочкой— институтской, я лежала в лазарете, в громадной, пустой, страшно высокой комнате, лежала почему-то отдельно от других больных и невыносимо скучала. И вот однажды мое внимание привлекла простая, но удивительная вещь: за окном, в амбразу-ре, из мха, покрывавшего кое-где выступы старой доекатерининской стены, вырос цветок. Это был настоящий больничный цветок, с венчиком в виде крошечной желтой звездочки и с длинным, тонким, хрупким, белесовато-зеленым стебельком. Я почти не отрывала от него глаз и чувствовала к нему какую-то жалостливую, задумчивую любовь. Дорогой мой, любимый! Этот больной, слабый желтый цветок — ведь это моя любовь к вам.

Вот и все, что я хотела сказать. Прощайте. Я знаю, что мое письмо немного растрогает вас, и это мне заранее приятно. Ведь такой любовью, именно такой, вас, наверное, никто не любил и не полюбит...

Правда, есть у меня одно желание: это видеть вас в тот таинственный час, когда завеса начнет приподыматься перед моими глазами. Не для того, чтобы цепляться за вас в бессмысленном страхе, а для того, чтобы в минуту упадка, ослабления воли, мгновенного и невольного страха, который, – почему знать? – может быть, овладеет мною, вы крепко сжали бы мои руки и сказали бы мне своими прекрасными глазами:

«Смелей, мой друг... еще несколько секунд, и ты будешь знать все!..» Но я устою против этого соблазна. Сейчас я запечатаю это письмо, напишу адрес, и вы получите его через несколько дней после того, как я перешагну «загадочную черту знания».

Последним моим чувством будет глубокая благодарность к вам, озарившему мои последние дни любовью. Прощайте. Не тревожьтесь за меня, мне хорошо... Вот я закрыла глаза, и по моему телу опять бежит теплая, сладостная волна, как и тогда... в виноградной беседке... Голова так тихо и приятно кружится. Прощайте!

Примечания

ПРИМЕЧАНИЯ

Рассказ был впервые опубликован в газете «Одесские новости», 1901, под названием «Больничный цветок», с подзаголовком «Из женских писем».